

## ВЫСТАВКА „ЖАР-ЦВЕТ“ В МОСКВЕ.

Фот. Кузнецова.

писать буду. Теперь все романы пишут, вообще можно завязать дела с издательствами. Могу воспоминания написать, слава богу, много перевидал... Подождем годик, да к тому же в России сейчас и неспокойно, и дорого. — Говорил так, словно обсуждали, куда бы еще перебраться где дешевле, как все обсуждали — три года подряд — глыбам и сдвигались, кочевали с семьями, с детьми, на дешевую жизнь. — И жалею, что

затеяли, надо было место искать, или за роман сесть. Я бы за это время уже запродавал, уехали бы в горы на месяц.

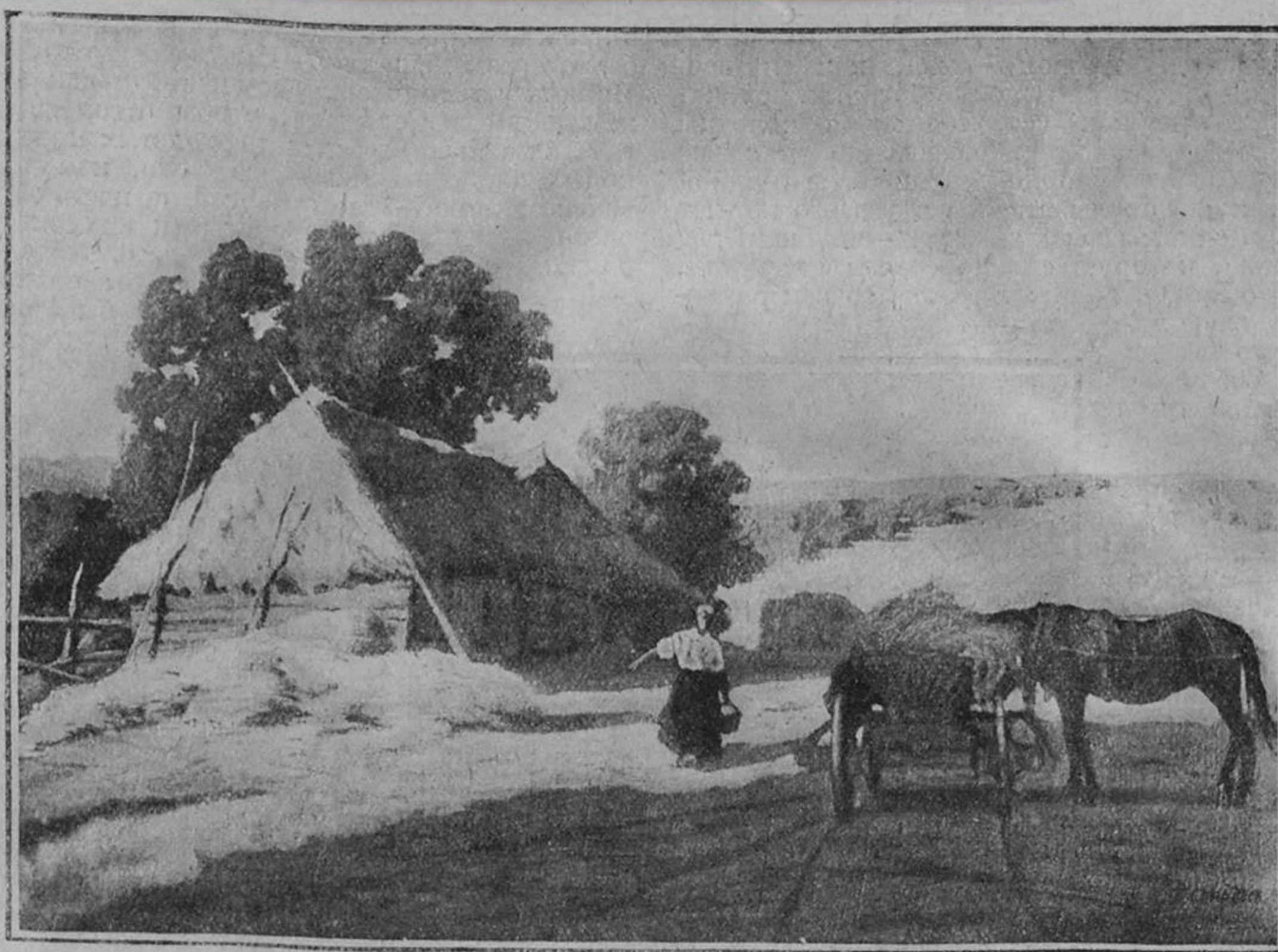
Пиджачишко длинный, в галию, по моде ватные плечи, как все носят, — все еще франтит, слова словно из ящика, а вот уже слабость на лбу — холодная тихая — от голода или ужаса, — Маша рукою водила по мокрому лбу. Говорила слова — женские, бабьи — женщина в беде всегда тверже мужчины, выносливее.

— Ну, конечно, придумаем. Мало разве придумывали за все эти годы, лучше всего воспоминания писать, роман сразу, пожалуй, и не напишешь. А потом, как будет возможность... знаешь, о чем я думаю? — Поворачивал голову, смотрел доверчиво, уже верил, — мужчины, как дети, всему поверят в женском голосе ласковом: — А потом... ребенок будет. Будет у нас ребенок, ведь будет? — Тянулась сама, всем нутром, незаполненным, не засеянным, женскою ждущей утробой — инстинкт — жизнь в себе почувствовать, затяжелеть от мужчины. — То, доктор, палаты... гадость, ужас. Ведь, не будет никогда так, не будет?

Лепетала в самое розовое ухо, нежное еще, и знала: — Будет. Ребенок зачатся — надо убить. Куда с ребенком в изгнании? Ребенок без родины, — нет, уж будет, достаточно и всего, что было.

— Бедный ты мой, мальчик ты мой измученный...

И он верит, как всегда всему верит, — здесь, на диване, как всегда, сменяется отчаянье страстью, сумасшедше



П. Свиридов.

В деревне.

жество, беременные женщины в России подолгу смотрят на огни елок — в их глазах ожидание и это бессмертное ощущение новой жизни в себе, сытого чрева, засеянного мужем. А здесь — поля без снега, и непахучие цветы, и мелкие голубые цветочки в вазе, как воспоминание о неповторимом. Что же, выйти на улицу,

Фот. Кузнецова.

как тысячи женщин выходят, на северянку найдется охотник, — может быть, подвернется американец, о котором мечтают все женщины, щедро сунет за ворот зеленую узкую бумажку, про которую все говорят. — За окном зеленый фонарь, пьяный идет под зонтом, качнулся, постоял по надобности у ворот, поскользнулся о след собачий. Зеленый фонарь сучит — сучит дождевые нити, мокрый камень, мокрый мотор пробежал, полоснул по камням дымными желтыми крыльями своих глаз. Мачеха — горд, мачеха — родина. Немец в желтой коже улыбнулся ей тогда, когда сошла с хрупкого его аппарата из легкого дерева и алюминия, — видела мир внизу — поработанный, разбитый человеком на клетки, — а теперь сама в этой клетке — предельной, асфальтово-каменной, из которой нет выхода в мир, а есть один только выход — в надмирность, именно в летучую эту невесомость, в переходящую облаков... Ноготки обломаны, душа, как перчатка снятая, — еще год ждать, верить не веря, надеяться не надеясь? Вот так — проще, благословеннее: только дернуть за колечко цепочки, и полетится, зеленовато не вспыхнув, не-



К. Петров-Водкин.

Голова.



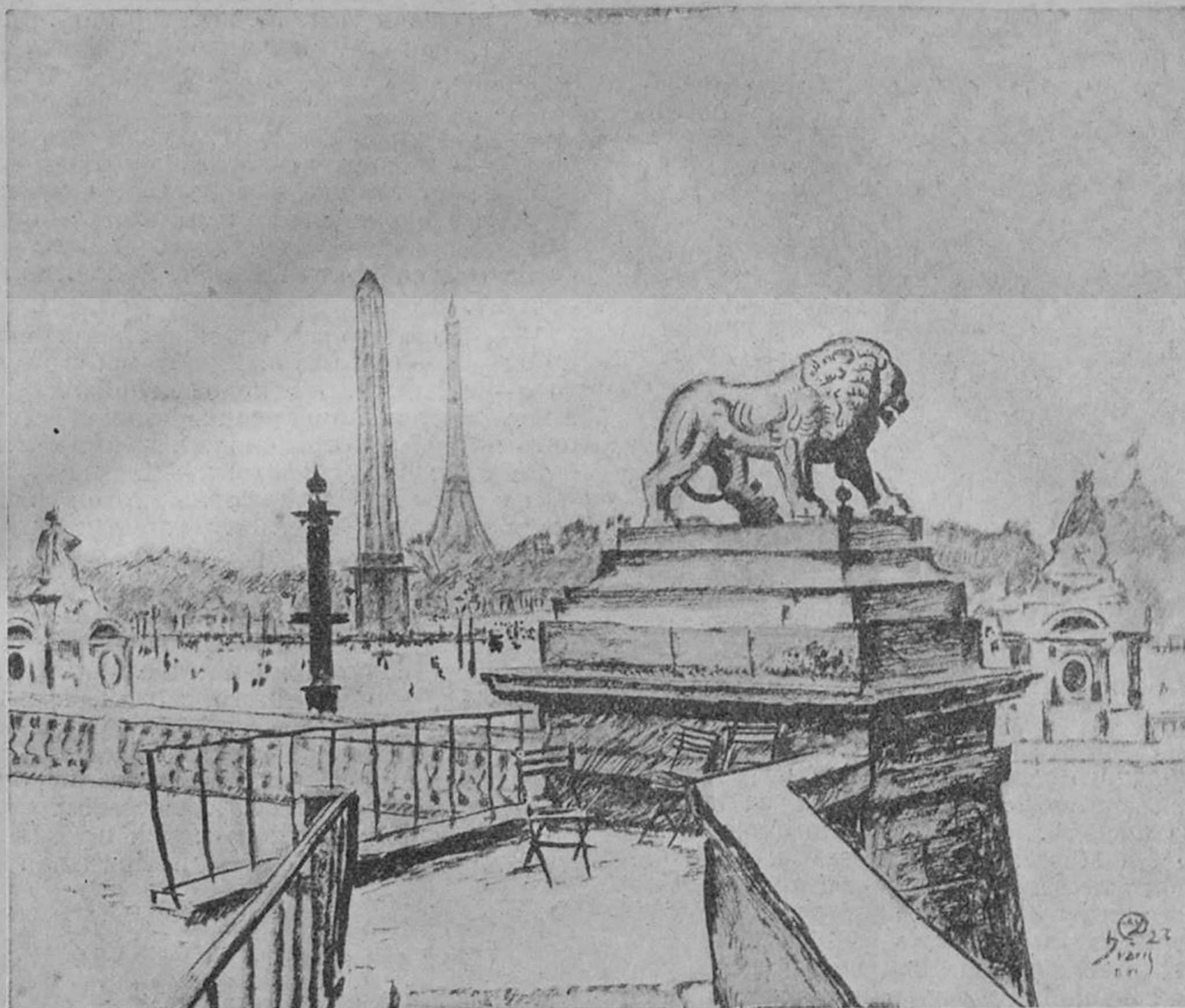
видимый сладкий угарик, забвенный чадок, от него померещатся сны, запахнут непахучие цветы жадным, горьким запахом болиголовы; — опять вечеряющий, пространный, непройденный мир встанет над смуглыми полями...

Босые ноги легки, неслышимы в ковре, белая рука — та же рука, что и на грядке телеги, протянулась, забелела в зеленом свете уличного огня, неслышимо качнулось колечко, — ничего не случилось: все так же, по-прежнему; за окном гусаком прокричал мотор; дыхание возле уха ровно, во сне ничего не увидишь, не узнаешь, — немецкие перины мягки, баюкают, качают.

Немцы спят истово, прочно, скулы разжаты, сдвинутые брови разошлись: во сне нет этой жестокой, упрямой жизни. Легкий, сладковатый чадок — чуть оседает на нёбе, на веках — смертной ломотою усталости, — ничего не было, мелкие голубоватые цветочки пахнут в вазе по-русски — дурманно, как на скате за садом. Опять мир громаден, свеж, полон запаха трав, майских просторов.

Марья вскинула парусом домотканную скатерть с красными петухами по краю. И в избе стало вдруг чище, светлее, точно снег выпал. Она осторожно, чтобы не грохнуться, открыла дверки угольника, достала дорожные чашки с росписью цветами и поставила на стол. Она многое успела еще сделать до дальнего гуда вечернего поезда. Достала из угла веник из прошлогодней полыни и мяты, и, тяжело сгибаясь, как позволял большой круглый живот, стала выметать избу. Веник все еще крепко пахнул раздавленной мятой, мяту же и полынь рассовывали по углам от блох. Дрова в печи стреляли, крепкая сухая осина, иногда с треском свертывалась березовая шкурка, красные пятна полыхали по полу — дом починили, с нуждой справлялись понемногу. Марья вымела пол, хо-

## ВЫСТАВКА „ЖАР-ЦВЕТ“ В МОСКВЕ.



М. Добужинский.

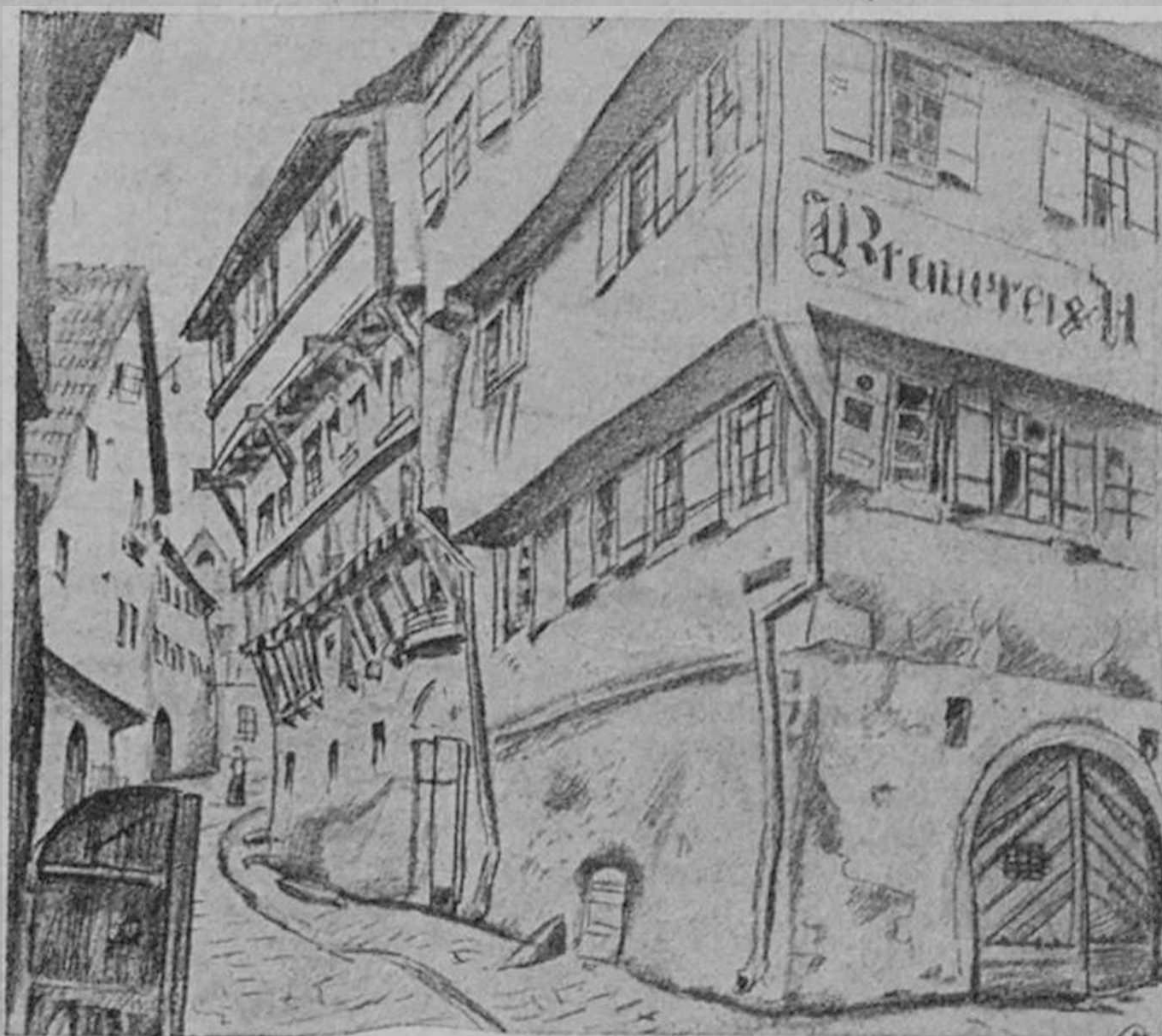
Площадь Согласия в Париже.

(Из путешествия за границу в 1923 г.).

ного, с спутанными волосенками, розовощекого, продолжавшего спать на весу, перестелила, придерживая простынку зубами за край, — люлька колыхнулась, и маленький опять поплыл в сне. Это был первенец Федор — по отцу — Одиноккову. Она минуту еще постояла над ним, он чувствовал ее близость и засыпал покойно.

И она стала снова бесшумно возиться: она в сенцах налила в начищенный самовар ледяной воды, тяжело по-

несла его к печке, развела, и в черное недро тяги понеслись золотые стрелы. Дрова в нечи стреляли, шишки хлопали в самоварной трубе, но от этого тишина была глубже, и теплота избы жарче. Она начисто еще перетерла полотенцем чашки и блюда, достала большой теплый еще пшеничный хлеб, поставила рядом с чашками и огляделась. Все было чисто, выметено и прибрано ее руками, пол сама она трудно вымыла с утра. На окнах были сизые елки мороза, она села на скамью, послушала дальний ход поезда, но ход был переходящий — шел товарный, — и минутку задумалась. Жила она с мужем хорошо, тесно, жалели друг друга; Яков был мужик смирный, работающий, на деревне считался хорошим бондарем; свозил из леса на станцию дрова по наряду; и сейчас, в канун Рождества, в свой черед, поехал он свозить дрова, прихватив на продажу пару елок. Жила



М. Добужинский.

Мосбах (Германия).



## Выставка „Жар-цвет“ в Москве.



Ю. Оболенская.

Базар в Мерве.

Марья с мужем от родного села недалеко и часто с маленьким уезжала домой на побывку. Приезжал за ней раз в отцовом картузе Федька, самый тот, которого вышестовала она в доме, и Марья, когда подъезжали к окрестности деревни, вспомнила, как выходила с ним в одеяле встречать отца, вспомнила господскую барышню, которую вез он в телеге, засмеялась и покачала головой, глядя на Федькин картуз, на оттопыренные под ним розовые уши и на то, как правил он кобылой, словно мужик, и сплевывал в сторону.

— Вот ты какой стал,—она сказала сквозь смех,—а я тебя во каком в одеяле носила...

И она вспомнила прожитые годы, которые шли не спеша, как была она в девках, сватовство и замужество, и ей стало вдруг радостно, что она стала из девки бабой, живет хорошо с мужем, рожала и теперь везет сына от него. Яблоки в отцовском саду дошли, крутая ядреная антоновка, Федька по-хозяйски водил за собой, сорвал с низкой ветки точеное яблоко, обтер рукавом и деловито, как хозяин, сказал:—А ну-ка, попробуй...—Они по очереди откусили твердое холодное яблоко, грызли его крепкими белыми зубами, Федька вдруг засмеялся, засмеялась и она, хотела ухватить его за ухо, но он вывернулся и побежал прочь козлом; было ему тринадцать лет.

Марья улыбнулась, вздохнула, надела армячок и вышла во двор. Луна в морозном тумане, в сизом двойном кольце. В закуте овца вздохнула, снег блестит, откатанная дорога под взволнок лоснится, мороз крепок, ветки плюшевы от толстого мохнатого инея. И тишина—стылая, только столбы гудят вдоль шоссе. Под луной дорога далеко видна до осинничков—никого нет. К Крещенью морозы навалят, воздух трудный, вострый; рогулька застрехи в снегу, как бабья кичка. Марья постояла, подумала озабоченно, что давно бы быть Якову, как бы не смерз дордой; чтобы прогнать беспокойство, вернулась еще в дом, послушала маленького и понесла в хлев в ведре стоялой воды поить Рябушку. В хлеву было тепло, Рябушка тяжело лежала, розовое вымя пламя на соломе, она поглядела, — сказала:—Тяжело подниматься, напьюсь и так,—стала пить лежа, и тотчас же подошел белолюбий бычок Фома, осенний Рябушкин приплод, понюхал воду, вдруг заскакал боком, играючи, словно козел, минутку постоял—рога к земле, будто очень осерчал,—и довольный принялся за сено. Марья напоила корову, заперла хлев, вернулась назад в избу, самовар уже поспел,—она стала снимать трубу и чистить, досадуя, что вот теперь самовар непременно до приезда загложнет, вдруг голос за спиной сказал в дверях весело:

— Ну, Марья, принимай гостью...

Сердце ее дрогнуло от радости и испуга, и она сказала, глубоко вздохнув, чтобы не выдать радости:—Вот

напугал, домовой,—но глаза ее сияли ему навстречу, она улыбалась широко, и Яков, в тулупе, с сахарной бородой и усищами, пропустил вперед закутанный узел. Узел шевельнулся, в щели было лицо Нюшки, младшей Одиноквой, которую прихватил Яков, по дороге. И Нюшка из узла пропищала:—Тетенька Маша, здравствуй...

— Вот домовой, ну, прямо как есть домовой,—говорила Марья,—девчонку совсем сморозил,—а сама выпрастывала ее из тряпья, выпростала, поставила сестренку на скамью и вдруг звонко зачмокала в одну, другую холодные пылающие щеки. И сейчас же хлопотливо стала она собирать на стол, пока Яков убирал и ставил лошадь.

— Что много свозил, купец?—она спросила, не глядя, но он уже знал, что она любит его румяным лицом, им всем—жданым, он подошел, обнял ее, она упиалась в него локтем, но он все же прижал ее, поцеловал в щеку, потом в губы, потом снова в щеку, как вдруг она оттолкнула и сказала шепотом:—Постой!—и он остановился. Она минуту прислушивалась, потом взяла его руку и прижала к своему круглому животу: там что-то возилось, пихалось и вдруг умолкло. И сказала счастливо:—Толкается.

Яков посмотрел еще на сына в люльке, сели за чай. Нюшка отогрелась, пила, как большая, дула на блюдечко и откусывала сахар. Марья глядела на нее и качала головой.

— Ну, что ж, много свозил, купец?—спросила она опять.

— Да раза три обернулся. А елки с поезда со спасибо купили, прямо на весь гостинец,—и он достал из-за пазухи и развернул новый глазастый платок: красные цветы по синему полю—такой, какой нравился ей. Но она поглядела мельком, опять не выдавая радости.

— Старушечий больно.

— В самую пору, коли старушечий,—и опять глаза ее против воли засияли ему навстречу.

— Ну, а ты, Нюшка, сморилась с морозу? Ишь какая большая стала.

И Нюшка, раздутая от чая, опять пропищала:—Я никакого мороза не боюсь, тетенька Маша... я совсем без платка даже бегаю, когда что...—и Марья снова любовно посмотрела на сестру, которую также вышестовала сама, как и Федьку.

После чая Яков пошел поить лошадь, Марья убралась, перемыла чашки, постелила Нюшке постель—на лежанке опять двигалась проворно и споро, как обычно. Маленький снова был мок, она перестелила ему, расчесывала свои волосы на ночь, когда Яков вернулся. Он обошел все округ, двор, день прошел в труде, все было в порядке. В избе было жарко, покойно; Яков задул лампу, разделся в темноте, они стали было ложиться в общую их постель, как вдруг Марья сказала:

— Да что же это я... печку закрыть забыла.

Она хотела было перелезть через него, но ему стало жалко жены, нагибаться ей перед печью трудно,—он сказал:—Сам закрою,—легко соскочил и подбежал к печке. Она была полна золотых горячих углей, он помешал их немного, постучал и полез закрывать выюшки.

— Смотри, помешай как следует,—Марья сказала с постели.

— Да они прогорели вовсе,—и он легко побежал назад и лег к ней в постель; он скоро заснул. Марья лежала на спине, лежать на боку мешал живот, думала—девчонка будет или мальчишка—хотела девчонку, под пару; вдруг потянула носом—от печи шел сладенький угарик. Она быстро, насколько позволяла ей тяжесть, перелезла через мужа, тяжело нагнулась у печи, понюхала, сказала вслух:—Эх ты, хозяин,—и вытащила голешку; по ребринам ее еще колыхался синеватый огонек, она быстро сунула ее в зашнурованную воду, понюхала печь еще и не спеша вернулась к постели. Муж спал, прядка волос лежала у него на глазах, она посмотрела на него, послушала его дыхание, снова сказала вслух:—Эх, ты, хозяин!—и бережно поцеловала в белый лоб. Она перелезла через него, долго укладывалась поудобнее и затихла. Чадок прошел, теперь опять пахло в избе прежним запахом—прошлогодней раздавленной мяты.



пироваться и, прислонившись к какой-то колонне в огромном зрительном зале мирового театра, сыпать колкими шутками, бросать изящным жестом приветия редким друзьям и наслаждаться с высоким кокетством собственной изысканностью, собственным одиночеством, собственной высотой и почти даже собственным своим бессилием.

Ведь художественная красота очень часто является результатом акта сублимации, как называет это Фрейд. В основе художественного акта часто лежит страдание, отказ и у Байрона это было несомненно так. Искусство очень часто есть воплощенная греза, которая должна вознаградить человека за какие-то ущербы, им чувствуемые.

При своем огромном даровании Байрон, в сущности говоря, блестяще разрешил свою задачу. Страдая от отсутствия шири, задыхаясь в тенетах мещанства, видя перед собой торжествующую морду реакции, Байрон страдал и своей песней хотел утешить себя, разрешить свои страдания, а вместе с тем и страдания родственных ему натур.

И в байронизме, в этом своеобразном гамлетстве, таком необыкновенно утонченном, выпрессенном, траурно-красочном, он полностью достиг намеченной себе цели. И не только бесчисленные маленькие Байроны по всей Европе, включая сюда наших Онегиных и Печориных, в загадочности и отверженности нашли себе самое подходящее утешение, но за ними потянулись даже юнкера Грушницкие и до самых дальних провинциальных поповен и селадонов из приказчиков галантерейных магазинов Царево-Кокшайска дошли какие-то байроновские линии в виде смешной игры в разочарование, отрывков недопонятых фраз и нависших над бровями байронически-беспорядочных и мечтательных кудрей.

Быть может ни один поэт не создавал почти невольно для себя такого культа фразы и поэмы. И когда Лермонтов печально глядит на свое поколение, и когда Тургенев гораздо позднее старается справиться с рудинщиной, они в параллель к некоторым подобным же явлениям на западе все еще вытаскивали ноги из этого завлекательного байроновского болота.

Болотом был, конечно, не байронизм, а сама реакционная эпоха второй четверти XIX века. Но разукрасил ее бесчисленными незабудками, отблесками какого-то пышного заката, именно Байрон. Он сделал это болото приемлемым, почти дорогим. В нем находили себе приют и праздноболтающий

барин идеалист, и бессильный интеллигент, оторвавшийся от жизни, и все бесчисленные несвоевременные люди.

Стихия практического ветра, которая погнала людей к новым действительно достижимым целям, на активные пути, должна была встретиться, как с враждебной стихией, с опаловым туманом байронизма.

Я помню, когда был еще совсем молодым юношей, почти мальчиком, мне пришлось присутствовать на лекции одного выдающегося профессора позитивиста о Байроне, который называл Байрона праздношатающимся барином, позирующим аристократом. Я очень глубоко был потрясен и обижен, ибо образ Байрона казался мне прекрасным и привлекательным и в ушах моих звучали те дивные строки, которые посвящены были Байрону, хотя бы, например, Лермонтовым.

Надо помнить, однако, что в этих суждениях есть доля правды.

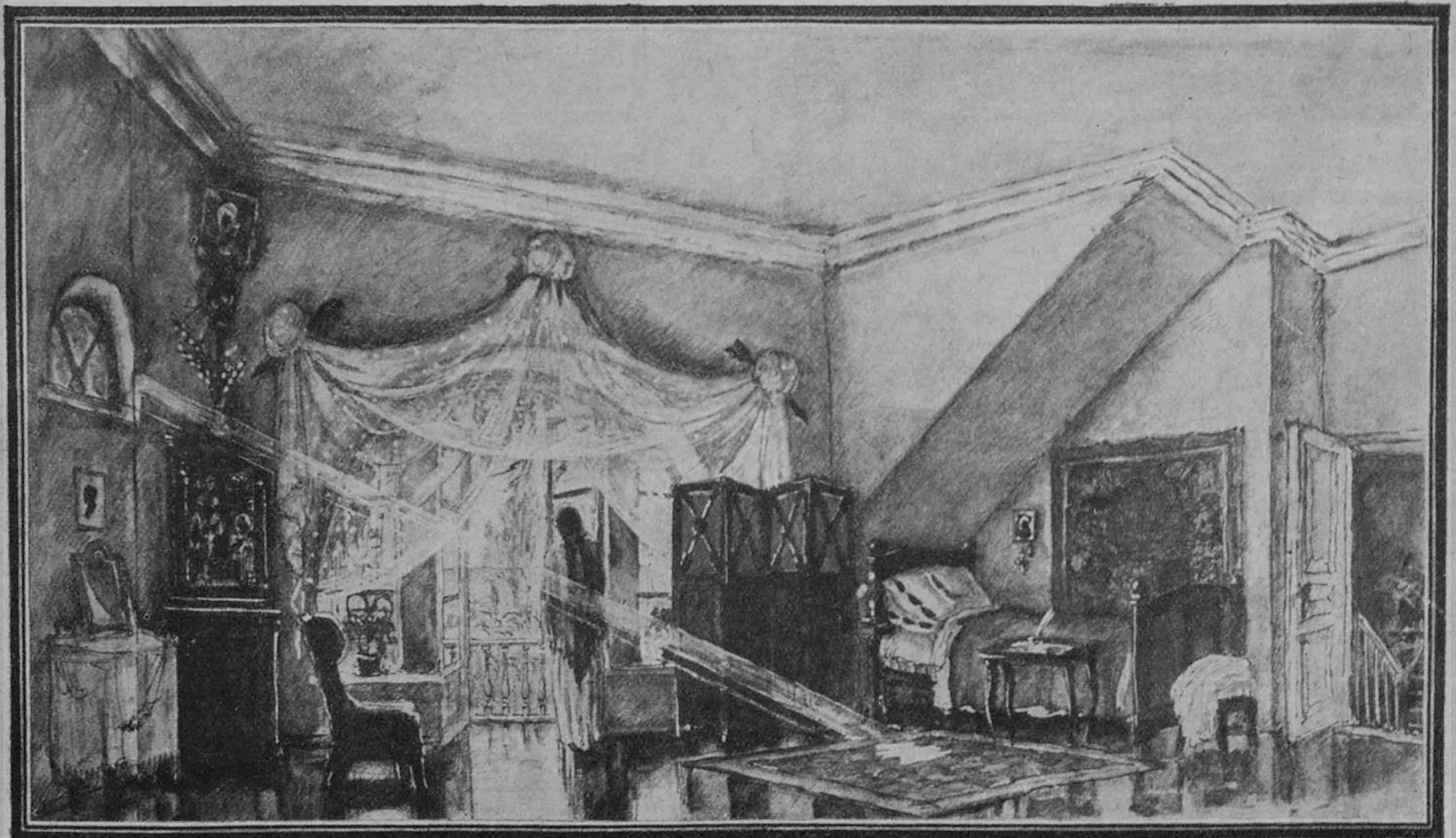
Подводя итоги байронизму и в особенности произведениям самого Байрона, во-первых, приходится исторически положительно оценить революционный дух Байрона и его протест против реакции; во-вторых, исторически оправдать, что протест этот выродился в позу и в фразу и, в третьих, и это самое важное, суметь различить в Байроновской поэзии позу и фразу (прекрасные формально между прочим) от великолепного живого материала, в котором и по-сейчас блещут живые молнии гнева, страсти и высокого остроумия.

Оценив Байрона вообще приблизительно в тех терминах, в которых я говорю о нем здесь, надо еще многое сделать для того, чтобы извлечь из произведений Байрона бессмертное и положительное. Таких элементов окажется там очень много. И я думаю, наилучшую услугу Байрону к его юбилею мы оказали бы в том случае, если бы, воспользовавшись наличием хороших переводов произведений Байрона, издали бы антологию его произведений, в которую включили бы его стихотворения и отрывки из больших его произведений, наиболее созвучные нынешней эпохе. Такую антологию надо было бы снабдить хорошим жизнеописанием Байрона, где он был бы взят в связи с его эпохой. Для этого проделана не малая подготовительная работа, в роде, например, недавно вышедшей биографии Байрона профессора Розанова, изданной, правда, только в своей первой части.

Л. НАЧАРСКИЙ.

## ВЫСТАВКА „ЖАР-ЦВЕТ“ В МОСКВЕ.

Фот. Кузнецова.



М. Добужинский.

Декорация к «Евгению Онегину» (комната Татьяны) в постановке Дрезденской оперы в 1924 г.



ЦЕНА в Москве, провинции и на станциях жел. дор. — 25 копеек.

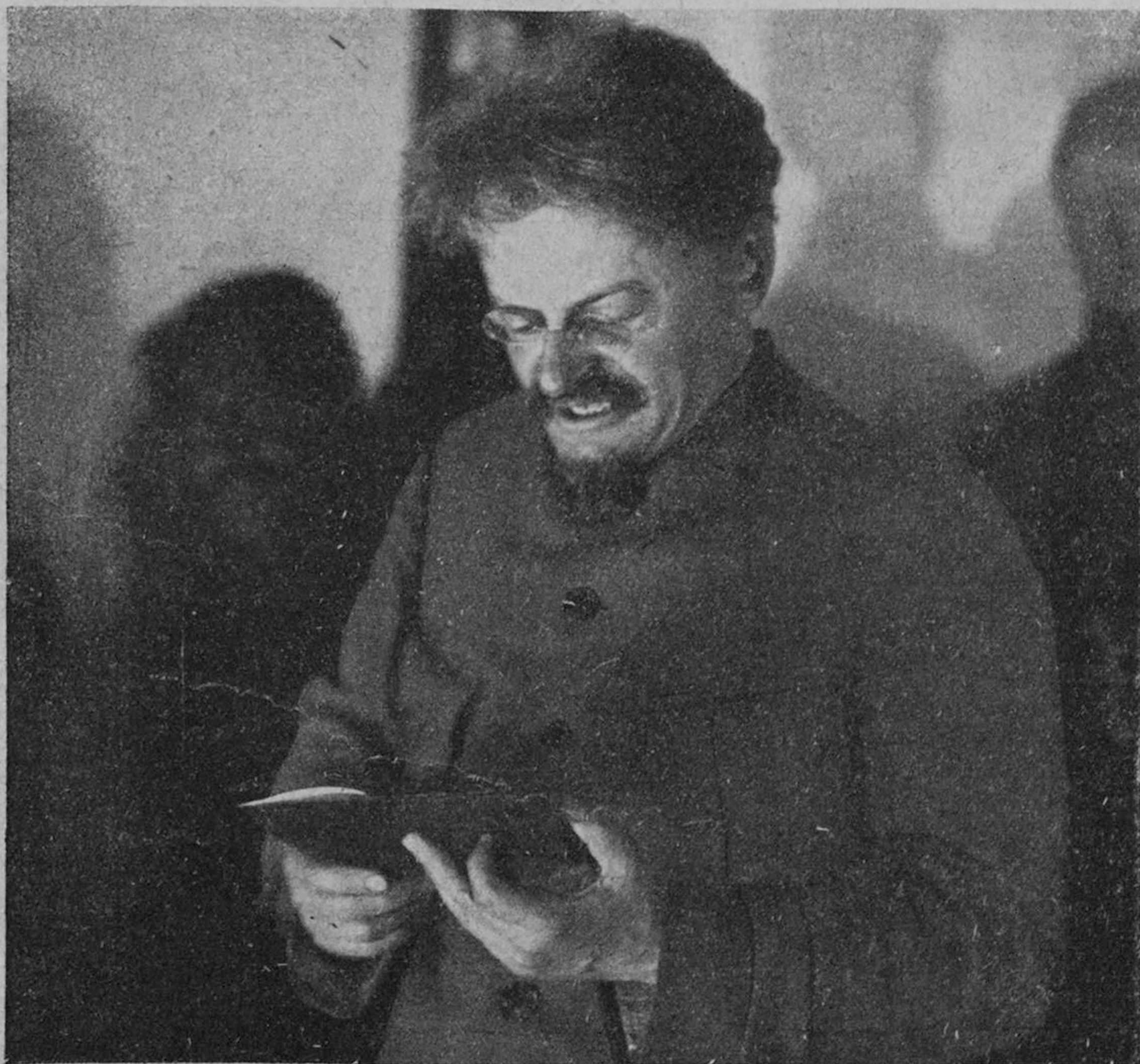
# КРАСНАЯ МИВА

№ 18

Москва, 4-го мая 1924 г.

№ 18

Фот. Кузнецова.



**Л. Д. ТРОЦКИЙ.**

(На торжественном заседании по поводу трехлетия коммунистического университета трудящихся Востока).

Издательство „Известий ЦИК СССР и ВЦИК“.



# КРАСНАЯ НИВА

— ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ —  
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ПОД РЕДАКЦИЕЙ  
А. В. ЛУНАЧАРСКОГО и Ю. М. СТЕКЛОВА

№ 18

Москва, 4 мая 1924 г.

№ 18

## СОКРОВИЩА ЭРМИТАЖА.



Рембрандт.

Девушка с цветами.

